



Г. Х. ШАХНАЗАРОВ

С Брежневым

<Фрагменты>

12 сентября 1999 года в программе «Итоги» Евгений Киселев огласил результаты гипотетического опроса: кого бы выбрал в президенты российский избиратель, если бы наряду с нынешними лидерами он мог отдать предпочтение кому-нибудь из предыдущих, начиная с Ленина. Любопытный эксперимент обернулся сенсацией: предпочтение с равными показателями (12%) было отдано Брежневу и Андропову.

Проливает ли это какой-то свет на личность Леонида Ильича? Ровно никакого. Уже сам факт одинаковой оценки совершенно разных по характеру и манере властвования генсеков свидетельствует, что в данном случае выражалась ностальгия по мирному, относительно благополучному периоду советской жизни. Обратное тому подтверждение — всего 2 процента, отданных Ленину. Что это не оценка личности — очевидно. Во всех проводившихся до сих пор опросах Ленин безоговорочно признается величайшим русским политиком XX века. Но видеть такого человека во главе государства не хотят, потому что боятся революции и потрясений.

Мы привыкли говорить «во времена» Ивана Грозного или Петра I, «при» Александре II и Сталине, но далеко не каждый правитель олицетворяет свою эпоху в такой же мере, как эти деспоты и реформаторы, с которыми связаны крутые повороты в истории страны. Правомерно ли, в частности, судить о 1964–1982 годах как о «времени Брежнева»? Здесь мы сталкиваемся с явным парадоксом. В то время как значительная часть общества отдает предпочтение именно этому времени, мало кто почтительно отзывается о нем как о лидере. При жизни его не боялись, но и не уважали, именовали «бровеносцем», негодовали и издевались над детским пристрастием к орденам и Золотым Звездам героя. После смерти вспоминают больше немощного, плохо соображающего и заговори-

вающегося старца, мертвой хваткой цепляющегося за трон. Анатолий Рыбаков, раздосадованный тем, что не успел при Хрущеве опубликовать своих «Детей Арбата», а при Брежневе это стало невозможным, сказал, что тот «18 лет опускал страну в трясины»*.

Эта характеристика не совсем справедлива. Она не учитывает изменений, происшедших с Брежневым на протяжении его пребывания у власти. Есть ведь некая общая закономерность, делящая всякое правление на две части — восходящую и нисходящую. За редкими исключениями, все правители (даже Калигула) начинали с исправления ошибок и преступлений своих предшественников, старались, как могли, создать о себе доброе мнение в глазах подданных и сограждан. И опять-таки, почти все раньше или позже отступались от первоначальных добрых намерений, то ли сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями, разочаровываясь в невозможности реализовать свои замыслы, то ли в силу деградации личности, развращаемой властью. Хрущев как-то напомнил образное народное выражение по этому поводу: «Идти на ярмарку и с ярмарки». И сам он, и пришедший ему на смену Леонид Ильич не избежали такой участи.

Мне довелось впервые познакомиться с ним незадолго до «воцарения». В сентябре 1964 года в отделе как всегда началась подготовка к поездке советской делегации на очередную годовщину Германской Демократической Республики. Мне было поручено писать проект выступления для главы делегации, и вначале я взялся за это, не представляя, для кого именно пишу. <...>

А впрочем, в данном случае для меня мало что изменилось и после того, как стало известно, что делегацию КПСС возглавит Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев. В то время выступал он нечасто, был, как и все, в тени генсека. Ни я, ни мало кто еще в отделе знал о нем как об ораторе. Кое-что стало проясняться, когда меня пригласил к себе помощник Брежнева Цуканов. Встретил радушно, и мы с ним засели за многочасовое сидение над текстом, во время которого делались отвлечения на всевозможные темы. Быстро вошли друг к другу в доверие.

В моих глазах Георгий Эммануилович остается самым добропорядочным из всего окружения Брежнева. Не помню уж, тогда или в другой раз рассказывал, как «угодил» в помощники. Инженер по профессии, он продвинулся до директора крупного металлургического комбината в Днепропетровске и приглянулся секретарствовавшему там в то время Брежневу. Любил свое дело и вовсе не собирался менять его на аппаратную работу, когда

* Рыбаков А. Роман-воспоминание. М.: Вагриус, 1997. С. 204.

вдруг Леонид Ильич срочно вызвал его в Москву и предложил стать помощником по Политбюро, то есть фактически главным. Он отнекивался, ссылаясь на свою узкую специализацию, не подходящую для столь важной работы. В действительности претила мысль идти в помощники, даже зарплата оказалась меньше директорских заработков с премиальными. Но отговорки были решительно отклонены, и ему, как «солдату партии», пришлось переехать в Москву и стать самым доверенным человеком у нового лидера. Таким, как Поскребышев у Сталина.

<...>

Грешным делом, и я, как-то встретившись с ним на Арбате, спросил, почему теперь, когда чуть ли не все, кто издалека видел Леонида Ильича, пишут о нем книги, не возьмется за это дело он, знавший его, может быть, лучше всех.

— Знаешь, Шах, — возразил он, — я не могу, не имею морального права его подвести даже после смерти. Если б стал говорить, пришлось бы высказать многие неприятные для его памяти вещи. А мне этого не хочется.

К чести Георгия Эммануиловича, он остался лояльным к своему шефу, несмотря на то, что был подвергнут опале, фактически полуотстранен от дел в последние годы жизни Брежнева. По рассказу самого Цуканова, это отчуждение произошло не сразу. Четко улавливающий настроение своих сподвижников, генсек с какого-то момента почувствовал, что главный помощник неодобрительно относится к принявшему непомерные размеры восхвалению его персоны. Однажды даже набрался смелости и, естественно из лучших побуждений, посоветовал не приближать льстецов, которые его лишь компрометируют своими панегириками и подношениями. Вместо того чтобы поблагодарить за добрый совет, Леонид Ильич принял это за проявление недостаточной преданности. Начал сторониться, перестал давать «деликатные» поручения. В конце концов — возвел в ранг главного доверенного лица Константина Устиновича Черненко. В отличие от Цуканова последний был предан как пес, не позволяющий себе даже тявкнуть на хозяина. Итог известен: Цуканов, стартовавший с более выгодной позиции, так и остался в положении опального помощника, Черненко, в награду за личную преданность, был поднят на самый верх и даже на короткий срок унаследовал пост генсека.

Сопровождая Брежнева в Берлин, ни я, ни мои коллеги из отдела не знали о предстоящем крутом повороте в нашей политической жизни. Судя по рассказам о том, как произошло отстранение Хрущева от власти, в подготовке этого «легального переворота» участвовало немало людей. Но они умели хранить секрет. Во вся-

ком случае, мы не догадывались о происходящем даже после того, как Брежнев был неожиданно отозван в Москву. Кому-то из членов делегации было поручено продолжить поездку по ГДР в соответствии с ранее намеченной программой. А я, прилетев домой и выйдя на другой день на работу, узнал, что летал с новым генсеком.

<...>

Тогда ведь было распространено мнение, что Шелепин, взявший на себя главную роль в свержении Хрущева, рассматривал Брежнева как промежуточную фигуру, которую ему легко будет через пару лет устранить и самому взойти на престол. Этого откровенно боялись, поскольку уже в то время не лучшим образом зарекомендовала себя его «команда» — видные комсомольские работники, привыкшие с юных лет раскатывать на казенных «Волгах», путешествовать по заграницам в составе делегаций ВЛКСМ и устраивать гулянки за казенный счет. Так ли это было на самом деле, но у всех у нас было убеждение, что «шелепинцы» рвутся к власти, а захватив ее, будут править по-сталински. Сейчас я подозреваю, что эта версия сознательно распускалась противниками Шелепина и в конечном счете помогла оттолкнуть от него интеллектуальную часть партийной элиты. Конечно, никто не поручится, какой правитель мог получиться из Александра Николаевича, а вот Леонид Ильич действительно возродил сталинскую систему, хотя и в смягченном варианте, без репрессий.

<...>

Но тогда, насколько мы опасались «железного Шурика»¹ (такая кличка закрепилась за ним в партаппарате), настолько же большие надежды связывали с Леонидом Ильичом. В нем видели прямого продолжателя раннего Хрущева, который не позволит окончательно утратить не слишком значительные, но все еще ощутимые следы XX съезда, и в то же время исправит ошибки и благоглупости, которые нагородил Никита Сергеевич, «идя с ярмарки»². Разумеется, в немалой мере эти ожидания подкреплялись тем, что новый генсек и его помощники с первых своих шагов привлекли к написанию политических заявлений и документов Андропова и нашу консультантскую группу. В октябре мы почти безвылазно просидели в кабинетах помощников на пятом этаже, работая над докладом Брежнева на Торжественном заседании в Кремле 6 ноября 1964 года.

Важно не то, что мы и другие соавторы этого документа старались в него вложить, а то, что новое руководство сочло возможным там оставить и прокламировать в качестве своей политической линии. Так, с явным намеком в адрес Хрущева цитировался Ленин: «У нас ужасно много охотников перестраивать на всяческий лад,

и от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни и не знал»*. Вслед за этим говорилось о необходимости осуществлять меры по совершенствованию руководства народным хозяйством, делая это «осмотрительно, без суеты и поспешности»**. Здесь же содержалась похвала XX съезду и доброе слово в адрес интеллигенции с обещанием выдвигать лучших специалистов на руководящую работу. Обращаясь к миру, новый генсек заявил о готовности покончить с ядерным оружием, «да и со всяким оружием, если на это пойдут другие государства». Он предлагал поощрять подсобные хозяйства, делать упор на принципах материальной и моральной заинтересованности, продолжить строительство жилья и т. д.

За этой «декларацией о намерениях» быстро последовали конкретные меры. Ноябрьский пленум ЦК 64-го года принял решение об объединении промышленных и сельских областных и краевых парторганизаций, устранив хаос, возникший из-за их неожиданного разделения. На пленуме 24 марта 65-го года были снижены недостижимые планы производства сельхозпродукции; вводилась твердая норма для республик и областей, но разрешалось свободно продавать то, что произведено сверх нее; повышалась надбавка к закупочной цене на пшеницу и рожь (на 50%); списывалась задолженность колхозов. Чуть позже, 8 мая 65-го года, в докладе по случаю 20-летия Победы Сталин упоминался без критики, но «подтверждалась решимость последовательно осуществлять генеральную линию, выраженную в решениях XX и XXII съездов, в Программе КПСС»***. Наконец, на пленуме 29 сентября 65-го года фактически провозглашалась программа экономической реформы в промышленности — улучшение планирования и управления, стимулирование производства. На первый план хозяйственной деятельности выдвигались хозрасчет, использование таких категорий, как цена, прибыль, кредит.

Вся эта скучная политико-экономическая материя 40-летней давности мало кого интересует. Даже профессиональные историки судят о времени Брежнева, за которым прочно закрепилось понятие «застойного», совсем по другим показателям и приметам. Но ведь никуда не уйдешь от того, что и у этого упадка было неплохое начало. Продолжи тогда сравнительно не старый,

* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. Т. 326.

** Брежнев Л. И. Избранные произведения в трех томах. М.: Политиздат, 1980. Т. 1. С. 16.

*** Брежнев Л. И. Избранные произведения в трех томах. М.: Политиздат, 1980. Т. 1. С. 93.

еще полный энергии генсек начатый курс, своего рода русский вариант дэнсяопиновских реформ, вполне возможно, что сейчас мы жили бы в Советском Союзе, не уступающем по мощи и благоденствию другим развитым странам мира.

Увы, этому не суждено было случиться. Помешало многое: паническая боязнь после сумбурных реформаторских опытов Хрущева вновь «наступить на грабли», отойдя от привычных, десятилетиями проверенных и не так уж плохо себя зарекомендовавших методов управления. Сказался страх партгосноменклатуры хоть в малой степени выпустить из рук контроль над общественным богатством. Тогда ведь, в отличие от перестроечных времен, о необходимости нового нэпа осмеливались говорить лишь в узком кругу специалистов. Не говоря уж о рынке, концессиях, офшорных зонах и прочих ужасах. Однажды, рассказывал Богомолов³, он осмелился на совещании в Совмине сказать о признаках инфляции в нашем денежном обращении и встретил гневную отповедь Косыгина: «Глупости, в плановом хозяйстве нет и не может быть никакой инфляции!»

Пожалуй, еще больше помешали реформам положительные факторы. Сравнительно легкий доступ к энергетическому сырью в сочетании с высокими мировыми ценами позволял продержаться за счет нефтедолларов. Не было официально признано, что возможности экстенсивного развития в стране исчерпаны. Словом, при немалом числе недовольных, критически настроенных или просто сомневающихся людей все-таки не стала еще общей мысль «так дальше жить нельзя». Прожить так еще несколько лет можно было, не отдавая себе отчета в том, что это жизнь под негласным девизом: «После нас хоть потоп».

При существовавшей у нас политической системе только всемогущий лидер имел возможность дать старт реформам, позволив тем самым сделать это исподволь, заблаговременно, без спешки, т. е. всего того, что губительно сказалось позднее на перестройке. Брежнев на это не отважился. Не потому, что вовсе не понимал необходимости большой реформы. Он отнюдь не был лишен хозяйственной сметки и обладал всей информацией, в том числе тревожной, предупреждавшей о приближении кризисной волны. Вдобавок его убеждали не терять времени дальновидные экономисты, опытные хозяйственники и даже некоторые из ближайших соратников, в первую очередь тот же Косыгин. Под этим давлением он несколько раз возвращался к мысли о необходимости реформ, давал соответствующие поручения, загорался, а потом все-таки отступал.

Вот и верь после этого в теорию, согласно которой роль личности ограничивается неумолимым действием законов общественного развития. Никаким таким законом не было предписано, чтобы

в 64-м году на посту генсека оказался именно Брежнев, человек, в общем, неплохой, незлой, неглупый, но властолюбивый и сластолюбивый, безмерно тщеславный и падкий до лести. Это объясняет, почему благими намерениями, заявленными на заре брежневской эры, оказалась вымощенной дорога к великим потрясениям нашего общества и государства.

Брежнев никогда не был харизматическим лидером и не внушал «массам» особой любви, как, впрочем, и ненависти. В лучшие времена ему симпатизировали, в худшие — над ним потешались. Но в чем ему бесспорно нельзя было отказать — в личном обаянии. Сколько ни пришлось мне видеть его, никогда не слышал, чтобы он на кого-нибудь поднял голос, был с кем-нибудь груб, отмастерился, как иной раз позволяют себе вполне интеллигентные люди.

Маршрут одной из поездок нового генсека пролегал на совещание ПКС государств — участников Варшавского Договора. Делегация от СССР была более чем внушительной, поскольку Брежнев не успел еще укрепиться на троне. Разумеется, никто не посмел бы оспаривать право генерального на последнее слово при решении любого вопроса — оно принадлежало не столько человеку, сколько креслу. Но малый стаж в новой роли еще не позволял ему чувствовать себя богдыханом. Другие «небожители», только-только его избравшие, т. е. сами поставившие над собой, еще видели его всего лишь первым среди равных. Особенно долго пребывал в таком заблуждении Подгорный, считавший, видимо, что своим участием в низвержении Хрущева принес такую жертву, за которую Брежнев должен быть ему благодарен пожизненно. На ПКС он приехал со своей свитой, не уступавшей окружению главы делегации, хозяева вынуждены были отвести ему отдельный особняк.

Мы сидели в комнатке на первом этаже рядом с кордегардией, куда без конца входили и выходили какие-то люди («сто тысяч одних курьеров!»). Неожиданно вошел Брежнев. Поздоровался, стрельнул у кого-то закурить и велел Александрову читать вслух шифровки, поступившие на его имя. На слух они воспринимались непривычно. Дело в том, что в международные отделы поступала информация из-за рубежа — от послов, резидентов разведок — да и то не вся. А тут шли потоком сообщения с мест. Больше всего было обращений от руководителей республик и областей со слезной просьбой помочь — деньгами, материалами, льготами, советами. Местные боссы жаловались на министров, иногда на «бессовестных» соседей, кое-кто просто заверял в верноподданнических чувствах.

В телеграммах по линии КГБ попадался и компромат. Теперь этим никого не удивишь, очередную порцию разоблачений можно с гарантией получить ежедневно, достаточно включить телевизор.

Тогда «жареные факты» воспринимались как сенсация. Смутно догадываясь, что не все ладно в «датском королевстве», мы не могли вообразить, насколько далеко уже в то время зашло разложение партийно-государственной элиты. А ведь самые громкие скандалы, вроде «рыбного дела»⁴ или грандиозной липы с хлопком⁵, были еще впереди.

Александров-Агентов, закончив с кучкой телеграмм с мест, перешел к депешам Секретариата ЦК. Подавляющее их большинство составляли кадровые назначения, требовавшие подписи генсека. Значительную долю занимали всевозможные запросы: можно ли выделить из госрезервов столько-то тысяч тонн мазута, чтобы обеспечить бесперебойную работу электростанции на Дальнем Севере; можно ли дать согласие ЦК Компартии Узбекистана на выпуск республиканской пионерской газеты, которая сейчас выходит на узбекском, также на русском языке для многочисленных русскоговорящих ребят; можно ли включить в государственный план строительство кинотеатра, на чем настаивают партийные органы Чувашии; можно ли наметить запуск очередного космического корабля... можно ли, можно ли?

Брежнев жестом дал понять Александрову: хватит! Он обхватил голову руками и, покачиваясь, проговорил: «С ума сойти можно, никто не хочет брать на себя ответственность, все всё валят на меня».

Со всех сторон сочувственно откликнулись: «Да, уж вам достается!», «У нас ведь, Леонид Ильич, привыкли прятаться за спиной начальства». От этих спонтанных сочувственных восклицаний перешли к советам, которые не только помощник и консультант, но каждый наш человек всегда готов дать незадачливому начальнику. Я уж не помню, что говорили Арбатов, Бовин, те же Александров и Цуканов, только осталось ощущение, что нечто умное и полезное.

Брежнев снисходительно отнесся к этому «Гайд-парку». Покуривая сигарету за сигаретой, внимательно слушал, перебивал вопросами, иногда комментировал. Тогда ему еще было интересно узнать мнение окружающих, это уж потом, когда он сам стал источником всех знаний, потерял к нему интерес.

<...>

Демократический период правления Леонида Ильича длился недолго. Он, впрочем, никогда не стремился подмять всех под себя, сохранял не только ритуал коллективного руководства, но и некоторые содержательные его элементы. В полном соответствии со своим жизненным девизом — живи сам и давай жить другим, позволял своим соратникам распоряжаться в отведенных им сферах, не сидел у них над душой, не навязывал в каждом случае свое

мнение, не держал за руку. Единственное, чего он добивался, это, так сказать, дисциплины на корабле, когда все офицеры и команда знают, кто капитан, и если уж он взялся за штурвал, все кидаются беспрекословно выполнять его команды. Такой стиль позволил Леониду Ильичу до конца дней своих прочно держать в руках бразды правления, обезопасить себя от заговоров, избирательно осуществлять наиболее приятные, «непыльные» функции власти и безмятежно удовлетворять потребности в развлечениях и наслаждениях. В этом смысле он был счастливым человеком. Для себя.

В июле 1965 года, когда в наших писаниях для генерального еще преобладали ссылки на научность, осуждались субъективизм и произвол, партию и страну призывали совершенствовать социалистическую демократию и консультанты были преисполнены на этот счет радужных надежд, мне довелось присутствовать при сцене, что называется, зарождения нового культа.

Делегация КПСС во главе с Брежневым приняла участие в IX съезде Румынской компартии. Чаушеску уже показывал зубы и вел себя довольно независимо, но ритуал братской дружбы и почтительное отношение к «старшему брату» соблюдались. Выступление Леонида Ильича было встречено бурными аплодисментами и вставанием, причем Чаушеску отмерил советскому лидеру точно такую же долю признания, как и руководителю делегации КПК. Зал напряженно следил за своим вождем, а он подавал четкий сигнал, садясь и вставая, начиная и заканчивая рукоплескания.

<...>

Забегая вперед, скажу, что мне пришлось присутствовать не только при зарождении культа, но и в момент его наивысшего расцвета, какой обычно наступает перед концом.

В октябре 1979 года Германская Демократическая Республика отмечала свое 30-летие и советскую делегацию возглавил Брежнев, уже достигший к тому времени всех мыслимых и немыслимых почестей — увенчанный четырьмя Золотыми Звездами, удостоенный маршальского звания и Ленинской премии за трилогию, которую один критик, помнится, приравнял к аналогичным произведениям Льва Толстого и Максима Горького. Ему отвели дворец, возведенный Фридрихом Вторым для своей племянницы, члены делегации и сопровождающие лица размещались в построенных вокруг особняках. Помимо участия в официальных торжествах им пришлось по поручению генсека встречаться со многими руководителями других делегаций. Сам он уже должен был беречь силы; исключение, помимо бесед с Хонеккером, было сделано для Тито.

Стоял теплый солнечный день, поэтому встречу было решено провести в парке, под сенью вековых деревьев. Вынесли стол, рас-

ставили вокруг кресла, в ожидании гостя Леонид Ильич решил прогуляться в сопровождении членов делегации, за ним вереницей пристроились посол Абрасимов, зав. отделом внешнеполитической информации Леонид Замятин, помощники, генералы, возглавлявшие группировку советских войск, наши коллеги из международного отдела ЦК СЕПГ, прикрепленные к делегации. Ну и мы, отдельцы.

Наконец известили о прибытии югославского лидера. Несмотря на то, что ему было далеко за восемьдесят и жить оставалось меньше года, выглядел он неплохо, возраст и недуги выдавали лишь пергаментная бледность лица и замедленная походка на плохо гнущихся ногах. Два маршала облобызались, уселись за стол друг против друга, остальные расположились вокруг. Хотя нас и трудно было удивить лицемерием «великих», здесь все же был особый случай. Не думаю, что правильно приписывать одному Тито заслуги беспримерного сопротивления фашизму, благодаря которому Югославия оказалась единственной страной Центральной да и Западной континентальной Европы, не покоренной гитлеровским воинством. Но превратил разрозненные партизанские отряды воинственных сербов, черногорцев и других своих соотечественников в мощную армию все-таки Иосип Броз Тито. И уж его воля стоит за отказом покориться Сталину, решимостью искать свою самоуправленческую модель социализма. Хотя этот поиск не увенчался впечатляющим успехом, Тито остается в моих глазах одним из легендарных лидеров XX века.

Беседа двух старцев, пребывающих в зените могущества, славы и самолюбования, носила не столько политический, сколько философско-ностальгический характер. Обменявшись дежурными фразами о том, что бывшие недоразумения между нашими странами улажены и в отношениях между ними нет проблем (на самом деле это не так, потрудиться на этом направлении досталось еще и на долю Горбачева), они стали перескакивать с предмета на предмет, не столько даже ища сочувственного отклика, сколько торопясь высказаться и произвести впечатление на собеседника. Помянули других «великих», в частности Мао Цзэдуна и его наследников. Находясь в Берлине, не могли не задеть уже начинавшие беспокоить Москву и Белград проблемы эрозии Ялтинской системы. Поговорили о перспективах общеевропейского процесса. Словом, посудачили обо всем, старательно обходя идеологические расхождения, к тому времени, впрочем, сильно поубавившиеся.

Когда гость нас покинул, и сам Леонид Ильич, и его соратники подивились хорошей физической форме Тито — ясной памяти, все еще живому интересу к жизни и политике. Действительно,

Тито своим примером, казалось, подтверждал язвительное наблюдение кого-то из французских остроумцев: власть — самый сильный эликсир жизни, те, кому она досталась, так не хотят с ней расставаться, что готовы жить вечно.

Теперь я подхожу к тому, что назвал «тайной вечерей». Выступив на торжествах с речью, которая, естественно, произвела запланированный фурор, наш генсек пришел в хорошее настроение и велел накрыть стол для членов делегации и узкого круга сопровождающих лиц. Было человек двадцать, только своих, немецких товарищей просили «отдохнуть от нас». Впрочем, никаких секретов присутствующие друг другу не поведали. После короткой переборки одобрительными репликами о том, как Хонеккер и его соратники отметили годовщину Республики («Все-таки немцы есть немцы!»), особенно о факельном шествии молодежи, началось изъяснение в любви к своему лидеру. Само это слово, правда, произнес один Замятин, так и начавший свою речь: «Леонид Ильич, я вас люблю...» Но к этому сводился пафос и всех остальных речей, причем каждый последующий оратор старался переплюнуть предыдущего или хотя бы не слишком от него отстать, чтобы, не дай бог, не быть заподозренным в недостаточной преданности. Вспоминали героические жизненные эпизоды (Малая земля, целина, космос, военный паритет с США, европейский процесс), славили мудрость, умение по-ленински точно определить звено, ухватившись за которое можно вытащить цепь, благодарили за превосходные человеческие качества — простоту и демократичность в обращении, внимание к людям, отеческую заботу о кадрах. Такого потока славословия ни до, ни после мне не приходилось слышать. Высказавшись, каждый подходил к Леониду Ильичу, тот поднимался и в знак расположения награждал поцелуем в обе щеки.

Когда отметились уже две трети присутствующих, я стал лихо-радожно соображать, что сказать. Было стыдно участвовать в этом откровенном раболепии, но и невозможно промолчать одному. Выступать мне пришлось последним, и я не придумал ничего лучшего, как сказать, что, став маршалом, Леонид Ильич остается в душе простым солдатом. Подозреваю, ему этот образ не слишком понравился. Во всяком случае, когда я подошел чокнуться, он не соизволил встать и единственному отказал в монарших поцелуях.

<...>

Помимо нескольких поездок (в основном на съезды компартий стран, которыми я занимался, а также на совещания ПКК Варшавского Договора) мое общение с Брежневым связано с работой над текстами речей в его московском кабинете на 5-м

этаже здания ЦК или в загородном хозяйстве Завидово (ныне «Русь»). Вообще-то искать разгадку образа Брежнева в его речах или мемуарах дело пустое. Все они плод другого разума, вышли из-под пера других людей. Сам он не имел дара к сочинительству. Речи читал с пафосом, иной раз останавливался с выражением легкого недоумения на лице, словно удивляясь заложенному в них смыслу. Спустя годы такие же паузы были свойственны другому оратору — Ельцину. Но в отличие от последнего Леонид Ильич в лучшие свои годы, до болезни, свободно владел тем, что можно назвать обиходной или спонтанной политической речью.

Однажды мне представилась возможность лично убедиться в этом. В мае 1978 года Брежнев принял приглашение Гусака посетить Прагу. Чехословацкое руководство явно хотело продемонстрировать, насколько успокоилась и неплохо живет страна спустя 10 лет после подавления Пражской весны. Были, как всегда, тщательно подготовлены основное выступление на торжественном собрании в Пражском кремле, а также две-три небольшие речушки, не помню уж по какому поводу. Но ни мы в отделе, ни помощники не могли предусмотреть, что понадобится еще одна речь. В последний вечер перед отъездом «старшего друга» Гусак дал в его честь ужин, представлявший собой своего рода «чехословацкий вариант» описанной мной «тайной вечера» в Берлине. Леонида Ильича увенчали высшей наградой Чехословакии, неопишимо красивым орденом с бриллиантами. (Кстати, и нам с Александровым-Агентовым «за компанию» дали по ордену «Победного унора», т. е. февраля.) Все члены руководства выступили с восхвалениями в его адрес, и оставить их без ответа было просто неприлично. Брежнев оказался на высоте, произнес 15-минутную логичную речь, вполне отвечавшую потребностям момента.

Но я не случайно употребил понятие «политической обиходности». Расторопный партийный работник, чувствовавший себя как рыба в воде, когда надо было выступить с призывным пропагандистским словом или принять участие в обсуждении злободневных хозяйственных вопросов, он даже не пытался заниматься теоретизированием, полагаясь в этом на Суслова, Андропова, Пономарева и «спичрайтеров», которым доверял. Обладая запасом теоретических знаний на уровне четвертой главы «Краткого курса»⁶, мог при чтении фрагментов, претендующих на развитие марксизма-ленинизма, остановить «читчика», попросить еще раз перечитать вызвавшее сомнение место и велеть его вычеркнуть. А в другой раз — пропустить какой-нибудь ужасно смелый по тем временам пассаж, который, однако, потом «ловили» и добивались устранения бдительные стражи чистоты революционного учения.

Читки в кабинете генерального были немногочисленны — как правило, не более пяти-шести человек. Обстановка там была, конечно, не такая вольная, как у Андропова, но достаточно раскованная. Услышав незнакомое понятие, Брежнев не стеснялся спрашивать, внимательно выслушивал, спокойно воспринимал возражения. Одним словом — не подавлял авторитетом своей громадной власти. Но все же сам факт, что это происходило в главном кабинете Советского Союза, накладывал отпечаток определенной строгости на эти «сидения». Тем более что время от времени входили секретари и на ухо шептали хозяину кабинета какую-то срочную информацию, а иногда он уходил в личные апартаменты, чтобы принять важный звонок. Даже необходимость быть «при галстуках» добавляла официозности в атмосферу «читок» на Старой площади.

Иное дело Завидово, здесь обстановка была значительно проще. Как правило, лица, внесенные в список участников работы, за день-два извещались Общим отделом о дате выезда. В назначенный час вереница автомобилей, сопровождаемая охраной и впередсмотрящими гаишниками, пронеслась по Москве и на большой скорости мчалась по дороге на Калинин. Приехав, мы располагались в скромных гостиничных номерах и в течение нескольких часов слонялись в неопределенности, дожидаясь сигнала к сбору. Особенно малоприятным было вечернее ожидание, предвещавшее запоздалый обильный ужин. Никто не знал, почему задерживается «Сам» — сразу отправился охотиться, проводит время в бассейне или занят сверхсрочными делами.

Но вот зовут на ужин. Аппетит уже перерезел, глаза слипаются — еще бы, около 12 — но, удостоившись приглашения к царскому столу, крепись. К тому же после рюмки водки сон — из глаз, закуска — лучше не придумаешь, да и компания любопытная. Патриарх обычно выходит в куртке, по-домашнему, тем самым давая понять, что и другие могут обойтись без галстуков. Садится на обычное свое место в середине стола, остальные рассаживаются без протокола, однако оказавшиеся здесь по вызову или по случаю члены руководства садятся, естественно, по обе руки «хозяина» или напротив, поскольку так удобнее следить за его настроением и вовремя подавать подходящие к моменту реплики. После второй и третьей рюмки официальщина ослабевает, общение становится более вольным. Но не развязным. Пиетет к «хозяину» соблюдается неукоснительно.

Хочу сразу же опровергнуть встречающееся мнение, будто Брежнев был склонен к сильной выпивке. Ничего подобного. Он и здесь был вполне среднестатистическим советским человеком мужского пола, то есть привычным принимать несколько рюмок,

но знающим меру и срывающимся с катушек лишь в чрезвычайных случаях. Он и сам чувствовал, когда нужно остановиться, и зорко посматривал, чтобы другие не хватили лишнего (я, кажется, переберу весь карякинский словарь), шептал на ухо официантке, чтобы не доливала. Так что в застолье царила пристойная обстановка.

Сколько помню, общих разговоров на какие-нибудь серьезные темы не заводилось. Для гурмана, каким, несомненно, был Леонид Ильич, еда была слишком важным занятием, чтобы отвлекаться на какие-то дела, хотя бы и первостатейного государственного значения. Пищи поглощал он много, повара готовили по заказу его любимые блюда, ими он, как радушный хозяин, потчевал своих гостей. По высшему разряду шла кабанятина, шпигованная чесноком. Были, конечно, и другие изысканные блюда, но тут смак состоял в том, что кабана подстрелил сам Леонид Ильич. Кстати, перед разездом по домам каждому участнику завидовского сбора в багажник клали добрый кусок охотничьих трофеев. А они почти всегда были весьма успешны, благо окрестные леса заботами армии егерей были переполнены живностью, а Брежнев был страстным охотником и, по отзывам, неплохим стрелком.

Насытившись и приняв на грудь (или за воротник?) несколько рюмок «зеленого змия», общество приходило в разговорчивое состояние. Темы возникали спонтанно — от той же охоты до наших успехов в космосе. Но чаще всего затрагивался предмет, близкий сердцу генерального: подвиги на Малой земле, Днепропетровск, целина, Молдавия. Зная его слабости и пристрастия, кто-нибудь просил почитать стихи. Леонид Ильич отнекивался, его уговаривали, он сдавался и произносил что-нибудь из своего излюбленного репертуара — чаще всего Есенина, Блока и, кажется, раза два Надсона. К слову, этот выбор напомнил мне, что у нас дома был «чтец-декламатор» и отец любил читать вслух примерно те же стихи. Видимо, у Леонида Ильича в молодые годы была эта книга.

Читал он не ахти как, то и дело спотыкался, и ему чуть ли не хором подсказывали забытую строку. Это еще полбеды. Когда у него появились затруднения с речью, было почти невозможно понять, что он говорит. Тем не менее всегда находились ценители, восторгавшиеся его чтением. Особенно щебетали стенографистки: «Леонид Ильич, вы могли бы выступать со сцены!» Он добродушно улыбался и не без удовольствия принимал эти признания своих разносторонних талантов.

В брежневском застолье ценились острое словцо, забавная байка, анекдот. При этом категорически исключалось сквернословие. Однажды Леонид Ильич рассказал нам, что на ужине в Берлине Галина Вишневская позволила себе выругаться в его присутствии.

«С тех пор не могу ее видеть!» — с чувством заключил генсек. Там, не скажу зубоскалили, больше подшучивали над кем-нибудь из отсутствующих соратников генсека, которых он не очень жаловал за претензии на самостоятельность, в первую очередь — Подгорным и Косыгиным. Иной раз завязывались шуточные дуэли, за которыми, однако, стояло вполне реальное соперничество, желание выглядеть предпочтительно перед очами «Самого».

<...>

С чистой совестью могу сказать, что у меня, думаю, и у других «спичрайтеров» такого азарта не возникало. Но была другая причина для внутренней собранности, сосредоточенности, желания подтвержде запечатлеть в памяти происходящее. Это его историчность. Ведь все, что происходит с главой Российского государства и вокруг него, кем бы, царем или генсеком, и каким бы, великим или ничтожным, он ни был, — все равно составляет часть истории страны. И у каждого пишущего человека есть соблазн довести до потомков диковинные явления, коим ему случилось быть свидетелем, сыграть почетную роль Нестора-летописца.

С этой точки зрения, мне кажется, особенно ценна возможность непосредственно наблюдать, как действует потаенный механизм власти, чем и как она «подзаряжается».

<...>

По утрам после завтрака нас приглашали в светлый просторный зал. Появлялся Леонид Ильич, помощники докладывали, что случилось за прошедший день, он давал поручения, иногда спрашивал мнение присутствующих, и те наперебой начинали давать советы. Наконец, покончив с оперативными делами, приступали к работе над документом. Кто-нибудь из помощников читал текст. Временами работа прерывалась, поскольку генерального соединяли по телефону с кем-нибудь из соратников по Политбюро, послами, министрами и другими высокими лицами. Особенно интересно и поучительно было слышать его переговоры с руководителями республик и областей.

Вот с утра, еще не приступив к работе, Брежнев просит вызвать к аппарату Кунаева.

— Здравствуй, Динмухамед Ахмедович. Как ты себя чувствуешь?.. Я? Рука побаливает...

Поговорив о здоровье, пообещав прислать какое-то новейшее лекарство, придающее бодрость духа, генсек осведомляется о здоровье супруги, успехах детей и как учится сын в Москве, и не нужна ли ему помощь с жильем. Словом, начало в полном соответствии с восточным ритуалом, как полагается между добрыми кунаками. Покончив с этим, без спешки переходит к делу: как в этом году

с зерновыми, сколько даст целина, достаточно ли запасли горючего, нужно ли поддержать, прислав людей и технику с Украины? Выслушав какой-нибудь встречный запрос, обещает разобраться и плавно переходит к третьей части разговора — политической, делится планами: когда предполагается созвать очередной пленум, о чем там пойдет речь, почему возникла необходимость отправить на пенсию Подгорного («он сам просится, устал»)? Получив заверение, что генеральный секретарь может рассчитывать на твердую и безоговорочную поддержку казахской партийной организации, Брежнев заканчивает комплиментом по адресу собеседника, так много делающего для прогресса нашего общества, просит беречь себя и с удовлетворением опускает трубку. Высший пилотаж политиканства.

По такой же кальке строится разговор с Рашидовым или кем-нибудь из секретарей областных партийных организаций.
<...>

Вот что, например, можно прочесть о Рашидове в Советском энциклопедическом словаре 1989 года издания: «Находясь на посту первого секретаря ЦК КП Узбекистана, посредством массовых приписок дезинформировал союзные гос- и парторганы о состоянии дел в республике, оказался вне критики и контроля и за мнимые достижения был удостоен звания Героя Соц. Труда (1974-1977). Способствовал коррупции, возрождению феод.-байских традиций, игнорировал социалистич. законность, насаждал местничество, национализм». Неужто в жизни Рашидова не было ничего, кроме очковитирательства? А с другой стороны, Брежнев не мог не знать, как его сатрапы управляют в своих «наделах».

Коррупция смертельно поразила вельможную верхушку общества. Увяз в ней и сам Брежнев, не способный устоять перед соблазнами сладкой жизни. Любил подношения и нашел неплохой способ удовлетворять эту страстишку: во время визитов дарить главам других государств как можно более дорогие подарки, побуждая тех, в свою очередь, не скупиться, чтобы не ударить лицом в грязь. Нельзя сказать, что это было его открытие. В конце концов, с древнейших времен государи, направляя послов или наведываясь в гости сами, считали неприличным ехать с пустыми руками. Павел I с супругой, объездив европейские дворы, получили в дар столько картин и всевозможных драгоценных изделий, что для их размещения не хватало ни Павловского дворца, ни Гатчинского, приходится держать значительную часть в запасниках.

Но то были монархи. Они дарили из своей собственности, а приобретенные дары, кстати, оставляли для музеев, то есть всеобщего пользования. Открытие нашего генсека, установленный

им «дарообмен» на высшем уровне отличался тем, что не стоил дарителям ни копейки, осуществлялся за счет казны и, разумеется, во имя высших государственных интересов. Разве не в интересах Советского Союза было расположить к нам Францию, вручив ее тогдашнему главе президенту Помпиду «ЗИЛ», чтобы получить взамен какой-нибудь сногшибательный «Порше»? Ну а друзья из соцлагеря тем более сочувственно встретили эту инициативу советских товарищей. Во время одной из поездок в Берлин коллеги-международники, взяв слово, что я их не выдам (это обставлялось величайшим секретом), показали мне подарок, подготовленный для Леонида Ильича, — шкаф из мейсенского фарфора, набитый царственным сервизом общей стоимостью, по их словам, порядка 50 тыс. долларов. Всякий раз, когда во Внуково-2 приземлялся спецсамолет, оттуда перегружались в автофургоны и везлись на дачу генеральному десятки коробок с ценными подарками. Не мог Леонид Ильич не знать о дани, которую собирала Виктория Петровна после каждой своей поездки в Карловы Вары, об авантюрных проделках своей дочери, питавшей болезненную страсть к бриллиантам. И уж, конечно, до него доходили сведения о корыстолюбии ближайших друзей — Щелокова, Цвигуна, Медунова.

Но все в этом лучшем из миров относительно. Эпоха Брежнева, представляясь венцом разврата и коррупции по сравнению с эпохой Ленина, когда партийные руководители сидели на «партаксимуме» и если грешили, то тайком, выглядит образцовым монастырем по сравнению с эпохой Ельцина. Если добавить, что по этой части время от времени грешат и власть имущие в самых цивилизованных государствах, то вполне можно вывести общую формулу: коррупция в той или иной степени свойственна всем существующим политическим системам и возрастает в размерах до тех пор, пока не происходит радикальная смена политической элиты, — потом все начинается сначала. Своего рода общественный закон, коренящийся в природе человека.

Сказал и сам себя поймал на слове. Едва став Генеральным секретарем, Андропов запретил принимать подарки от иностранцев стоимостью свыше 50 рублей — все остальное должно было сдаваться в казну. Брежневу подносили бриллианты баснословной стоимости (Гейдар Алиев во время посещения генсеком Баку)⁷, Андропов сдавал все преподносившиеся ему ценные подарки. Так же поступал в бытность свою главой государства Горбачев. Природа в своей любви к многообразию поставляет разных правителей. Кому как повезет. Нам везет редко.

Запланированные на день звонки состоялись. На душе у генерального спокойно. Элита сплочена и преданна. Никто не осме-

лится плести заговор, а если кто и рискнет критически отозваться о политике руководства, как Николай Григорьевич Егорычев, первый секретарь МК, то Центральный Комитет дружно даст отпор, смутьяна можно будет отправить послом в Данию пофилософствовать у стен замка Эльсинор⁸.

Пройдена за редакционным столом добрая половина доклада на предстоящем съезде партии. После трудов праведных не грех и отдохнуть. На вечер назначается праздничный ужин. Сказать, чем он отличается от обычного, трудно. По части еды разницы никакой. Стол генерального всегда радует глаз обилием закусок, разнообразными деликатесами, изысканным оформлением, дорогим сервизом, блеском на славу начищенных приборов и сиянием хрустальных рюмок. Вот разве атмосфера повольтнее. Леонид Ильич, сбросив с плеч груз государственных забот, больше шутит, охотнее поддается на уговоры читать стихи, вызывая общее восхищение. Соответственно, на градус вольнее чувствует себя окружение. Опрокинет пару лишних рюмок, становится говорливее, начинает флиртовать с официантками за неимением других возможностей — стенографистки и медицинская сестра находятся в персональном владении генерального.

После хорового пения у него появляется охота потанцевать на воздухе. В просторную беседку, расположенную над озером метрах в ста от дома, приносят столик, водружают японский проигрыватель и запускают заранее подготовленную пленку с записями старомодных танго, фокстротов, вальсов — публика-то солидная, да и равнение на «Самого», а он — человек устойчивых вкусов, как все мы, не терпит поп-музыки и поп-арта, хотя, в отличие от Хрущева, не считает нужным по этому поводу топтать ногами. Танцы здесь же, на веранде. Танцуют и те, кому за шестьдесят — Пономарев, Русаков, — надо оказать моральную поддержку генсеку. Не одному же ему прыгать рядом с молодежью. А с другой стороны, полезно и себя показать: есть еще порох, готовы к труду и обороне!

Если кто-нибудь думает, что за этим последует описание оргий, то я должен его разочаровать. Все кончается очень прилично, как после танцевального вечера где-нибудь в учрежденческом или заводском коллективе. Хотя и поздно, часу в четвертом-пятом, но веселье затихает, все расходится по своим комнатам, чтобы на другой день с некоторым опозданием продолжить работу над историческим документом. Правда, нас попросят самим пройти оставшуюся часть доклада, поскольку генеральный намерен поохотиться.

<...>

Со двора слышались звуки подъезжающих машин, забежала охрана, в дверях появился генсек в своей охотничьей тужурке, приветливо поздоровался с Громыко и увел его к себе для частного разговора. Но прежде сказал, что нынче вечером готов удовлетворить мою просьбу посмотреть фильм Тарковского «Андрей Рублев».

Уже несколько месяцев вокруг этого шедевра шли споры. На практиковавшихся премьерных показах в ЦК картина вызвала сильное неудовольствие. Возмущались натурализмом отдельных сцен, якобы искусственным возвышением роли церкви как хранительницы национальной культуры. И особенно не понравилось реалистическое изображение княжеских междоусобиц, царивших на Руси в раннем Средневековье. Казалось бы, наоборот, эти эпизоды должны были восприниматься как суровый урок потомкам, напоминание о необходимости превыше всего ценить единство земли русской, залог отпора любым недругам. А постановщика обвиняли чуть ли не в антипатриотической пропаганде. Как ни странно, нечто подобное мне пришлось слышать даже от такого сравнительно умеренного ортодокса, как Пономарев. Он счел «ошибочными» суждения о роли русской интеллигенции, вложенные авторами сценария в уста главного героя. Ермаш тщетно добивался разрешения выпустить фильм на экран. Петр Нилович Демичев, ведавший культурой, как всегда умыл руки. Главный идеолог Суслов воздерживался от однозначного решения. Дело зашло в тупик, и высшим арбитром мог выступить только генеральный.

После ужина собрались в небольшой комнате, оборудованной под кинозал. Генсек уселся в кресло в трех метрах перед экраном (он вообще любил сидеть близко). Мы устроились позади, у самой стены.

— Кто-нибудь из вас видел картину? — спросил Леонид Ильич. Случилось так, что к этому моменту я один. — Садись рядом, будьешь мне объяснять, если чего не пойму.

Я расположился на стуле возле кресла.

Мне до сих пор кажется, что, если бы фильм начинался с эпизодов «Набег» или «Колокол», он понравился бы Брежневу, во всяком случае не заставил его скучать. А тут потянулась долгая сцена беседы Андрея Рублева с Феофаном Греком, да еще усугубленная нарочито замедленной в манере Тарковского съемкой: детали росписи храма, выразительные лица монахов. Я почувствовал, что генсек начинает проявлять нетерпение. Он заерзал в кресле, потом спросил:

— Слушай, что они все говорят и говорят. Народ ведь сбежит.

— Тут речь о роли интеллигенции, Леонид Ильич, — возразил я. — У этого фильма найдется свой зритель.

— Не люблю я такие картины, — сказал он. — Вот недавно смотрел комедию с Игорем Ильинским, — кажется, он назвал «Девушка без адреса» или «с гитарой», что-то в этом роде. — Это да! Посмеяться можно, отдохнуть. А это... — Он пренебрежительно махнул рукой.

— Может быть, широкий зритель на нее и не пойдет, — сказал я, — но ведь есть фильмы массовые, а есть и рассчитанные на определенные категории людей. В данном случае на творческую интеллигенцию. Главное, в картине нет ничего вредного с идейной точки зрения.

— Может быть. — Посмотрел еще минут пять-десять и сказал: — Знаешь, устал я сильно, и рука болит, пойду отдохну, а вы тут досмотрите.

Ну все, подумалось мне, затея сорвалась. Но я ошибался. Через несколько дней от помощников стало известно, что генсек, поверив на слово, что в «Рублеве» ничего вредного для советской власти нет, просто картина «для интеллигентов», сказал не то Суслову, не то Демичеву, чтобы зря не держали, попросили авторов, если нужно что-то поправить, и выпустили на экран. После этого дело пошло веселее, хотя не сразу удалось «сторговаться». Тарковский упирался, и в конце концов удалось выпустить фильм с минимальными потерями, но малым тиражом. В Москве его демонстрировали в одном-двух кинотеатрах.

Пожалуй, это был редкий случай, когда в Завидово показывали художественную картину. Сеансы там вообще были редки, как правило, привозили документальные фильмы о животных, природе, охоте. Зная склонность генсека к «зооэкологической» тематике, председатель Гостелерадио Лапин старался насытить ею телепрограммы, притом требовал ставить эти фильмы на вечерние часы, когда, по его сведениям, генеральный садился к телевизору.

Больше всего мне пришлось наблюдать Брежнева в переговорах и общении с руководителями стран, которые «опекал» наш отдел. В первые годы своего правления, пока еще хватало сил и энергии, он любил наносить визиты. Трудоголиком, в отличие, пожалуй, от всех других советских руководителей, он явно не был, и если подвергивался предлог отвлечься от повседневной административной суеи, охотно этим пользовался. К тому же всякая поездка сулила приток положительных эмоций — почестей, славословия, подарков. Повсюду ему, как лидеру сверхдержавы и «коммунисту No 1», был гарантирован не обязательно сердечный, но уж наверняка пышный прием.

А вот на Кубе его встречали с непоказной, искренней радостью и таким шумным выражением восторга, с каким, должно быть, в Древнем Риме устраивали триумф победоносным полководцам. Довольно длинная дорога от аэропорта до Гаваны была без малейших просветов запружена народом. Люди пели, выкрикивали приветствия, махали без усталы флажками, мальчишки гроздьями висели на деревьях, из развешанных вдоль всей трассы радиорупоров доносились величавые звуки советского гимна и зажигательные — кубинского. Свою долю в этот вселенский шум и гвалт вносили небольшие самодельные оркестрики, расположившиеся вдоль дороги. Но даже этот торжественный проезд нашего кортежа затмил состоявшийся на другой день митинг на центральной площади Гаваны. Никогда в жизни не приходилось мне видеть такого гигантского скопления людей их было, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона. Вся эта колыхавшаяся человеческая масса восторженно откликалась чуть ли не на каждое слово, произносимое с трибуны Мавзолея Че Гевары Фиделем и Брежневым. Мне кажется, это был апофеоз его политической карьеры.

Надо отдать должное Леониду Ильичу, он умел налаживать доверительные отношения с лидерами государств, входивших в советскую империю. При Ельцине так называемая личная дружба на высшем уровне стала предметом насмешек. Тогда в демонстрации личной близости и взаимной привязанности лидеров тоже присутствовала театральность, вообще присущая политическому стилю Брежнева. Но было и достаточно серьезное содержание. У генсека с партнерами по Варшавскому Договору был примерно такой же общественный договор, как с руководителями союзных республик: вы мне гарантируете лояльность, я вам — пребывание у власти. Только здесь вносилась существенная поправка на суверенитет.

Советологи по недоразумению объявили «доктриной Брежнева» решимость Советского Союза сохранить контроль над Восточной Европой, ставший результатом Ялтинских соглашений. При этом принято ссылаться на опубликованную в «Правде» официозную статью «Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран» (26 сентября 1968 г.). Но это выступление, имевшее целью идеологически обосновать вторжение в Чехословакию, не содержало ничего принципиально нового. То, что было названо «доктриной Брежнева», следовало по заслугам назвать «доктриной Сталина», хотя сам он как раз мудро воздержался от применения ее на практике против «взбунтовавшейся» Югославии маршала Тито. А до Леонида Ильича доктрину в полном объеме применил

Хрущев в Венгрии. И если было отличие между брежневским и хрущевским этапами отношений СССР с партнерами по блоку, то оно заключалось как раз не в ужесточении прессинга Москвы, а, напротив, в его заметном ослаблении.

Не остановившись перед интервенцией, чтобы не выпустить из советской орбиты Чехословакию, Брежнев в то же время заметно отпустил вожжи. Причин тому было много: и начавшийся общеевропейский процесс, необходимость построже относиться к своим международным обязательствам, и существенное сокращение возможности дотировать поставки союзникам дешевого сырья, и их собственная растущая претензия на самостоятельность. У Чаушеску она стала идефикс, во все совместные документы румыны чуть ли ни на каждой странице вставляли слово «независимость». Действуя намного дипломатичней и умней, без пустячной бравады своего румынского соседа, Кадар на практике пошел гораздо дальше: еще до «бархатных революций» экономика Венгрии на 50 процентов была привязана к Западу. Поляки вообще никогда не были образцом блоковой дисциплины. Герек отмахивался от предостережений Москвы и готовил стартовую площадку для «Солидарности», залезая в валютную кабалу и переключая польскую авиацию с Илов на «Боинги». Клянясь в дружбе до гроба и изъявляя готовность присоединить Болгарию к Советскому Союзу, Тодор Живков, не посчитавшись с мнением советского руководства, развернул кампанию по переименованию болгарских турок и вытеснению их в Турцию, что серьезно осложнило положение в стране. «Самовольничал» и Хонеккер — я уже говорил о форсированном развитии связей с ФРГ. Один Гусак, похоже, ни на что не претендовал. После 1968 года ему было не до независимости.

Этот беглый перечень вполне достаточен, чтобы признать, что из всех советских лидеров Брежнев был самым большим либералом в отношении наших европейских союзников. Я бы даже описал общее положение следующим образом: на том этапе намного больше стали значить личные качества лидеров, их, если хотите, кураж. У нас многим не нравилось, что союзники то и дело выходят из повиновения, ворчали, упрекали отдел в мягкотелости. Между тем тонус отношениям задавал генеральный, и если кто-нибудь в ЦК, правительстве, советском представительстве в Совете Экономической Взаимопомощи пытался поднажать на болевые точки наших друзей, оттуда поступала жалоба на высшем уровне и в ответ — указание Кремля бить отбой. Сколь ни странным может показаться такое утверждение, Брежнев нередко выступал в роли заступника союзников и по заслугам признавался ими за «старшего брата».

Авторитету Леонида Ильича у его зарубежных партнеров в не-малой мере содействовала его искусная линия на персонификацию политических отношений Москвы со столицами союзных государств. Без каких-либо официальных решений установился порядок, по которому наши послы в этих государствах стали считаться личными представителями генсека. Все прочие, даже представляющие нашу страну в столицах великих держав, должны были, к примеру, испрашивать согласие на отпуск у своего начальства в МИДе, а «наши» — только у Леонида Ильича. Их главной функцией отныне становилась передача личных посланий и поддержание контактов между генсеком и лидером страны пребывания. Все они автоматически приобретали право на членство в Центральном Комитете, а с другой стороны, подбирались в его составе, среди людей, заслуживших полное доверие Леонида Ильича.

Это было на руку и его коллегам, поскольку позволяло вывести из сферы коллективного руководства и отнести к исключительным функциям лидера заглавную часть внешней политики, какую, несомненно, составляли для них отношения с Москвой. Когда было выгодно, лидер мог утаивать от соратников нюансы этих отношений. В целом та абсолютная концентрация власти в руках генерального, которая происходила у нас на протяжении 70-х годов, превращение глав правительств и парламентов, других членов партийного руководства из равноправных членов высшего синклита в помощников первого, — через личные отношения Брежнева с другими генсеками «перетекали» в практику союзных стран, узаконивали у них аналогичное всевластие первых лиц советским авторитетом.

Такой порядок окончательно закрепился, когда в добавление к заседаниям Политического Консультативного Комитета государств — участников Варшавского Договора (ПКК), а иногда в подмену им, стали проводиться так называемые «крымские встречи».

По установленному в отделе раскладу мне помимо четырех стран поручалось заниматься Варшавским Договором и другими коллективными учреждениями или разовыми совместными акциями социалистического содружества, за исключением экономических — ими, как я уже говорил, занимался у нас Олимп Алексеевич Чуканов, превосходный специалист и порядочный человек. Основная моя нагрузка состояла в подготовке материалов к заседаниям ПКК, которые играли роль «социалистического саммита», своего рода аналога западной «семерки». Когда-то, на ранних этапах существования пакта, эти заседания, как рассказывали «старожилы», носили характер деловых совещаний, на которых обсуждались главным образом вопросы военного сотрудничества.

Считалось само собой разумеющимся, что политика — прерогатива Москвы, союзники просто принимали к сведению импульсы, исходящие из Кремля. При Брежневе статус Советского Союза в ОВД опустился с «императорского» до «первого среди равных», «младшие» участники, одобряя линию супердержавы, позволяли себе добиваться от блока внимания к их конкретным национальным проблемам, ритуал встреч приобрел вид коллегии равноправных государств.

Решение организационных вопросов, в первую очередь подготовка проекта Заключительного коммюнике Совещания, ложилось на страну, которая должна была по очереди принимать его в своей столице. Сама же процедура сводилась к выступлениям, фактически монологам, глав делегаций. Отчитав заранее заготовленные тексты, они заслушивали доклад Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОВД, принимали совместное заявление по какому-нибудь злободневному вопросу международной жизни, общались на банкете и разъезжались. По возвращении готовилась записка, в которой давалась оценка прошедшему Совещанию, отмечались нюансы в поведении союзников и делался вывод, что наша политика находит поддержку и одобрение, а интернациональное сотрудничество стран социалистического содружества еще более укрепились.

Признаться, поначалу я никак не мог понять, зачем нужны такие реляции. Ведь они шли под грифом «совершенно секретно», т. е. могли быть прочитаны только членами Политбюро, а в состав советской делегации в обязательном порядке входили помимо генсека Председатель Президиума Верховного Совета (пока Брежнев не занял и этот пост), глава правительства, секретари ЦК, занимающиеся международными делами, министр иностранных дел, т. е. добрая половина высшего руководства. К тому же на первом же заседании Политбюро генеральный рассказывал соратникам, как прошла встреча, делился впечатлениями. Выходит, писали сами себе? О нет, эти отчеты предназначались для Истории.

Каждое совещание ПКК отнимало у меня два-три месяца. Вначале мы в отделе готовили проект выступления генсека, дорабатывали его с помощниками, затем сам он подключался для заключительной читки. Параллельно мы с коллегами из МИДа (опытный дипломат Лев Менделевич, зам. министра В. Т. Логинов, Г. Н. Горинович и др.) ездили к хозяевам очередной встречи согласовывать будущее коммюнике. Иногда это выливалось в многодневные «сидения» из-за неуступчивости румын. Получив от своего вождя жесткие установки, их представители упорно бились за свои формулировки, досаждая остальным сверх всякой

меры. Это, однако, не мешало нашим добрым отношениям с постоянным оппонентом — Василем Шандру, чему немало способствовало прекрасное знание им русского языка. Другие заместители заведующих международными отделами — венгр Дьюла Хорн (тот самый, что в 90-е годы возглавил социалистическую партию и был премьером), Бруно Малов из ГДР, Михаил Штефаняк из Чехословакии, болгарин Дмитрий Станишев, поляк Кшиштоф Островский, работавшие вместе с нами заместители министров иностранных дел, постоянно встречаясь, сдружились и научились находить взаимоприемлемые формулы легче и быстрее, чем это давалось нашим боссам.

Сближала сама обстановка совместной напряженной работы. Просиживали допоздна за документами, потом хозяева предлагали для «разрядки» посидеть в каком-нибудь ресторанчике, послушать музыку, иногда прямо в резиденции устраивались небольшие концерты. Не обходилось, разумеется, без умеренного потребления веселящих напитков. Однажды в Варшаве возникла необходимость усесться за маленькими столиками и решено было разделить как раз по этому признаку: пивные страны (Чехословакия, ГДР), винные (Болгария, Венгрия, Румыния) и водочные (Польша, Советский Союз).

В мои обязанности входил также контроль за подготовкой доклада Верховного главнокомандующего. Сам этот документ сочинялся в Генеральном штабе, затем главнокомандующий Виктор Георгиевич Куликов или начальник штаба Анатолий Иванович Грибков звонили с просьбой посмотреть проект перед внесением в ЦК. Приезжали военные «спичрайтеры», обычно в чине полковников, сообщая уточняли текст, добиваясь, чтобы его заглавная, политическая часть была синхронизирована с выступлением Брежнева. Иногда, оговорившись, что это мое частное мнение, я позволял себе высказать некоторые замечания и по военным вопросам. Хотя они исходили от старшего лейтенанта, маршал отнесился к ним со вниманием.

Возможно, вся эта рутина не представляет интереса, но она была частью моей жизни, и я не мог о ней не упомянуть. К тому же без этого трудно было бы понять смысл изменений, внесенных Брежневым в процедуру общения с лидерами союзных государств. С некоторых пор его явно стало тяготить участие в совещаниях ПКК представительных делегаций. Тем самым и отношения между генсеками как бы ставились под коллегияльный контроль, а ему явно хотелось превратить их в свое личное дело. Кому-то из его окружения, привыкшему угадывать желания шефа, или ему самому, пришла в голову хитроумная мысль. Все лидеры прово-

дили отпуск у нас в Крыму, так почему не собрать их у нашего гостеприимного генсека на неформальную дружескую встречу? Там они смогут говорить по душам, не опасаясь собственных соратников, и к тому же в курортной обстановке, располагающей к большей откровенности. Придумано — сделано понравилось. Помимо высоких участников присутствовали на встрече лишь референты-переводчики, которые обычно отправлялись в Крым, чтобы быть в распоряжении высоких гостей. Только от них мы могли узнать, о чем там шел доверительный разговор.

Повторяю, началось все с высказанной кем-то мысли о том, что неплохо оказать внимание друзьям и предложить им попить чайку на даче у генерального. Ну а уж когда собрались, поговорили, возникло желание выдать это за важную работу — не просто так, мол, мы ездим в Крым. А после того как кто-то из находчивых журналистов окрестил это событие «крымской встречей», она из частного случая превратилась в институт укрепления и развития социалистического содружества. От лидеров заранее поступали запросы, намерены ли в Москве проводить очередную встречу в этом году, мы получали официальную санкцию и вводили в план как обязательную составную часть нашей работы, наряду с заседаниями ПКК Варшавского Договора или совещаниями Совета Экономической Взаимопомощи*.

Похоже, вожди сошлись во мнении, что на отдыхе не следует утомлять себя делами, и эти сходки предназначены лишь для того, чтобы излить друг другу душу. Характерная деталь. Узнав, что в помещении, где должна состояться встреча, устанавливается аппаратура для записи, Брежнев распорядился ее убрать: как можно ожидать откровенности от людей, которые знают, что каждое их слово фиксируется и потом может быть поставлено им в лыко! Тем не менее к каждой встрече готовились обширные справки, генерального предупреждали, с какими вопросами и просьбами может обратиться к нему тот или иной из его собеседников. С другой стороны, вносились предложения, что «можно было бы» или «считали бы целесообразным» сказать тому или иному лидеру. (Закавычено ритуальное обращение к высокому начальству, без которого не обходилась, вероятно, ни одна записка в ЦК.)

Сам я лишь однажды имел возможность побывать в доме, где проводились встречи. На этот раз имелось в виду раскрыть союзным лидерам наши перспективные планы в европейской политике и международном коммунистическом движении. По-

* Запомнились три «крымские встречи», состоявшиеся подряд — 3 августа 1971 г., 1 июля 1972 г. и 31 августа 1973 г.

номарев и Катушев получили задание «быть под рукой» и поселились на партийной даче в Мисхоре, которую по этому случаю перестали перегружать отдыхающими, за исключением первых секретарей обкомов. Работа была не изнуряющая, море в ста шагах, по вечерам приезжали заведующие секторами и посвящали во времяпровождение своих «подопечных». Заведующий румынским сектором Владимир Ильич Потапов рассказывал, что жена Чаушеску, Елена, за малейшую провинность бьет своих охранников и «сенных девок» по щекам. Сергей Иванович Колесников, «ведавший» Чехословакией, сообщал, что Гусаку надоело мирить Биляка со Штроугалом. По наблюдению Валерия Мусатова (один из немногих моих сослуживцев по отделу, продолжающий успешно трудиться на Смоленской площади), Кадар хандрит. И так далее. Обсуждалось, что из этой информации следует довести до ушей генерального.

Как-то секретари поехали лично засвидетельствовать готовность к встрече, и я с ними. Довольно высоко в горах, в нескольких километрах от Мисхора, расположены здания оригинальной курортной архитектуры. В одном из них, построенном, видимо, уже при советской власти, просторный, со всех сторон остекленный зал. Там уже были расставлены столы с бирками — кому где сидеть. Мне не показалось, что обстановка располагает к сердечной беседе, скорее, к проведению «мини ПКК Варшавского Договора», уж слишком по-канцелярски все было устроено.

Повторяю, только однажды довелось мне побывать на месте «крымских встреч». В остальных случаях я был обязан по партийному этикету вместе с высоким начальством провожать генерального секретаря, отъезжавшего на юг. Всякий раз протокольная служба обзванивала провожающих (или встречающих), называя точное время, когда следовало быть в аэропорту Внуково-2. Младшие чины, к которым относился и зам. зав. отделом, подъезжали пораньше, затем появлялись министры (Громыко, Щелоков), помощники, члены руководства и, наконец, «Сам». Предотъездная суэта длилась недолго, а вот встреча проходила так, словно генеральный вернулся из космического полета или мы с ним не виделись два десятка лет. Выстраивалась длинная шеренга, сойдя с трапа, он троекратно обнимал и лобызал каждого.

Затем шли в просторный холл аэропорта, где подавали чай и кофе со сладостями. Генсек подробно посвящал соратников в содержание своего разговора с союзными лидерами. Если возвращались с Совещания ПКК, подавали реплики и члены делегации. Иногда там же давались поручения помощникам или работникам отдела, но чаще чаепитие сводилось к безусловному одобрению

сделанной генеральным титанической работы, похвалам его проницательности и умению тактично направлять развитие социалистического содружества.

Покончив с этой темой, переходили к внутренним делам. Сопратники ставили лидера в известность о событиях, происшедших в стране за время его отсутствия. Разумеется, он и в поездках получал информацию, но только крайне неотложную. Договаривались, на что обратить внимание, что обсудить на очередном заседании Политбюро. Затем генеральный, сердечно попрощавшись с каждым из присутствующих, уезжал, за ним в соответствии с рангом покидали аэропорт соратники. Но разъезд имел свою «нагрузку». Люди, принадлежавшие к разным отсекам власти, использовали эту мимолетную встречу, чтобы напомнить о себе друг другу, о чем-то условиться или просто отметить в своей принадлежности к тому, что можно было назвать политическим ядром партии и государства.

На этих встречах и проводках я впервые получил возможность понаблюдать, как Брежнев общается со своими соратниками, но за все 18 лет его правления только однажды был приглашен на заседание Политбюро. Зато позднее, став помощником Горбачева, не пропустил ни одного из этих заседаний, как говорится, *ex officio*. Нет нужды говорить, насколько живее, интереснее, вольнее проходил высший партийный синклит в годы перестройки. Но сейчас я хотел бы сказать не об этом, а о самом институте Политбюро как форме правления. Можно по-разному оценивать 70-летний опыт советской власти, но невозможно отрицать ее уникального характера, и Политбюро ЦК КПСС было, несомненно, ее ключевым элементом.

<...>

Сталин держал Политбюро в ежовых рукавицах, но заставлял его работать, Брежнев вывел этот орган из строя своей добротой и покладистостью. Выдав каждому члену Политбюро вексель на пожизненное участие во власти, он превратил его в собрание старцев, неспособных откликаться на новые веяния, тративших добрую треть рабочего времени на излечение различных хворей. Средний возраст членов высшего партийного синклита перевалил при нем за 73 года. У нас была не просто идеократия, а *геронтологическая идеократия*.

<...>

Иначе говоря, у Брежнева не было своей команды в точном значении этого слова. Конечно, он энергично расставлял преданных себе людей и собственную родню на престижные должности, но не потому, что рассчитывал на их самоотверженную помощь

в осуществлении своих замыслов, а чтобы упрочить собственную власть да и порадовать родному человеку. Семейственность и кумовство в чистом виде, не более. С годами состав руководства менялся, но, за редким исключением, выбывали только умершие, а прибывали всегда люди той же закваски, можно сказать, возвращенные и наученные для Леонида Ильича Иосифом Виссарионовичем. Это, между прочим, и обеспечило относительную стабильность брежневскому режиму, позволило ему уцелеть даже при больном и недееспособном лидере. Система сохранялась, пока на всех ее ключевых постах оставались специально для нее подготовленные люди. При Брежневе, как и при Хрущеве, несмотря на всю антипатию последнего к генералиссимусу, страна шла без Сталина по сталинскому пути.

<...>

Пока же, на мой взгляд, самый правдивый политический портрет Брежнева написал Рой Медведев. С одним только в его характеристике трудно согласиться. По мнению Медведева, Брежнев «понимал ограниченность своих возможностей и этим выгодно отличался от многих других советских лидеров»*. Прежде всего Брежнев не отличался выгодно ни от одного советского лидера, кроме, может быть, Черненко, которого сам же и поднял на эту высоту. А что до возможностей — он вовсе не был самокритичен, разве не об этом свидетельствует то спокойное, уверенное достоинство, с каким он принимал пять Золотых Звезд, маршальское звание, Ленинскую премию и прочие награды. Нет, Рой Александрович, Леонид Ильич отнюдь не был скромником и если не вступил на путь великих потрясений, то только потому, что был ленив и не обладал (может быть, к счастью) развитым воображением.

Точно так же мне не кажется справедливым, когда Брежнева называют «политической бездарностью»**. Нет, он не был бездарностью. Он был незаурядным политиканом и в таком качестве — олицетворением посредственности. Это слово принято у нас произносить с оттенком презрения, как нечто ничтожное, убогое, жалкое. Но когда учительница выставляет ученикам тройку, одни огорчаются, что не получили четверку или пятерку, а другие радуются, что проскочили без двойки или единицы. Так и с этим.

Стендалю первому пришлось в голову окрасить разные отрезки времени. Под каким же цветом прожила страна 18 брежневских лет? Конечно, под серым. Как, возражат мне, строили коммунизм, продолжали осваивать космос, достигли военного паритета с Со-

* *Медведев Р.* Личность и эпоха. М.: Новости, 1991. С. 209.

** *Реформы и контрреформы в России.* М.: Изд-во МГУ, 1996. С 154.

единенными Штатами, заслужили статус одной из двух сверхдержав, распоряжались в Содружестве, поддерживали десятки революционных режимов во всех частях света — и серость? Да, никогда, даже при генералиссимусе, Советский Союз не был так величествен. При Брежневе он достиг пика могущества!

Но, вероятно, именно поэтому стал сначала незаметно для себя и мира, затем все более наглядно деградировать. Такое случается со всякой силой, достигшей вершины, просто потому, что нельзя на ней долго усидеть. И потянулись внешне благополучные, заполненные торжественной суетой и самовосхвалением власти, как при Византийском дворе, а внутренне хилые, болезненные для общества годы. Серость нависла над временем.

